

...Эта баба, чью фотографию за последние две недели он истрепал в кармане куртки, все не ехала и не ехала. Он устал ждать на сквозняке. Он хотел получить свои деньги, нырнуть в теплое нутро винного магазина, купить вожаденные пол-литра, попутно прихватить сигарет и закуски. И все! После этого он хотел навсегда забыть это дело, за которое ему, если честно, было немного стыдно.

Разве не позор: пригвоздить беспомощную бабу? Разве такими делами ворочал, когда был в форме и в прямом, и переносном смысле?

Нет, тогда он гарцевал по жизни. Он был профессионалом. К нему шли с заказами толпами. Нет, неправильно, а то кто-нибудь подумает, что он ларек на центральной площади держал по оказанию киллерских услуг. Не шли, конечно же, это перебор. Заказы он получал через десятого посредника в виде лаконичного звонка на домашний телефон. Потом при встрече получал аванс и подробные инструкции. После операции получал остальную сумму. Каждый посредник знал по цепочке лишь следующего за ним и никогда другого, поэтому его так долго и не могли взять.

И до сих пор не взяли, хотя теперь его и брать-то не за что.

Он прокололся однажды. Глупо, дико прокололся. Деньги вернул, но весть о том, что он уже не тот, быстро облетела всех, кто на него полагался. К нему перестали обращаться. Сначала он психовал, лежал дома и часами смотрел глупые наивные сериалы про киллеров и охотников за ними. Смотрел и ржал.

Такая лажа! Такой глушняк, что облеваться можно было от постоянной тошноты, вызываемой очередной серией. Все не так! В чем-то было много проще. В чем-то много сложнее. Но совсем не так красиво и деловито, как в кино этом сраном.

А артистов-то, артистов на роль злодеев подбирали каких, а! Ну просто плейбой какой-нибудь, а не душегуб. И все атлеты, как на подбор, и единоборствами владеют, и в костюмах дорогуших и при галстуках, и ботинки ручной работы. На такого глянешь, не захочешь — станешь подозревать. Боец ведь, не рядовой слесарь со станкостроительного. Боец и хищник!

Разве же такое возможно?! Да нет, конечно! Он-то знал, что все не так. Он вот не был атлетом с широченными плечами, хотя руками кое-что делать и умел. И ростом не особо вышел. Внешность так вообще заурядная, не то что с первого, с третьего раза не запомнишь. Последний в цепочке десяти посредников от заказчика частенько мимо него на месте встречи проходил, не узнавал.

С бабушками во дворе дружил, потому что надо было так. На субботники выходил, мусор помогал относить, за лекарствами даже иногда кому-нибудь бегал. Оттого и любили его соседи, и все невест ему подыскивали.

Оттого и на свободе он до сих пор.

Хотя, может, на свободе он не от неприметности внешности своей, а потому что давно не в деле. Очень давно! Лет уж пять, поди. Странно, что о нем сейчас вспомнили вдруг. Правда, дело — говно. Серьезный человек на такое и подписываться не станет. И деньги пустяковые. Ему сгодится. Пенсии, которую он получал, в последнее время что-то хватать перестало.

Да, стал выпивать, а как иначе? Один да один. Дела нет, семьи нет. Собаку пробовал заводить, так соседка престарелая с конфузливой улыбкой попросила зверину свести из квартиры. Псиной, мол, воняет. Он и свел собаку в приемник, хотя привязался к ней очень и очень хотел бабке хребет за пса сломать.

Но правило, установленное им самим же — не убий там, где живешь, и не живи там, где убиваешь, — нарушать не посмел...

Так, кажется, прикатила. Он заерзал возле ствола дерева, о который опирался, проверил незамысловатое орудие. Дождался, пока баба выйдет из машины, подхватит из багажника пакеты и скроется в своем подъезде, и только тогда скорым шагом пошел за ней...

ШАВА 1

Раз, два, три, четыре, пять, вышел Зайчик погулять...

Ее Зайчик тоже теперь на прогулке, наверное. Маленький, пухлый карапуз с умными серыми глазами вполлица, носом пуговкой, алым сочным ротиком, прямо как перезрелая черешня, которого она назвала при рождении Гавриилом и с которым до недавнего времени не расставалась почти ни на минуту, в это время должен быть на прогулке со своей воспитательницей.

Звягинцева Надежда Степановна — до отвращения правильная, до крахмального хруста стерильночистоplotная — чопорная дама, понукала теперь ее мальчиком.

«Гавриил, так нельзя», — должна она сейчас повторять ему нравоучения хорошо поставленным бесцветным голосом.

«Туда не ходи! Там опасно!»

«В лужу наступать нельзя, промокнут ботинки!»

«Мячом играть нужно с другими детками, так правильно!»

«Не стоит облизывать губы на улице, Гавриил, это неприлично, и они будут болеть...»

Может, и сумеет научить ее Гаврюшку Звягинцева Надежда Степановна — как надо сидеть за столом, как держать вилку и нож, как приветствовать входящих и как прощаться с уходившими... Одному она ее Гаврюшку не научит — любви. Этому научить нельзя. И как может научить любви человек, который сам никого не любил и которому и любить-то некого. Одинокой была Звягинцева Надежда Степановна, совершенно одинокой, как та береза, что скрипит десятый год под Машинными окнами.

Она ведь все про нее узнала. И где живет, и с кем дружит. К слову, не дружила та ни с кем, кроме своего облезлого кота. Когда ходит по магазинам, что покупает из еды, на чем экономит, а на что не жалеет средств. Маша, как привязанная, ходила за ней по пятам первые два месяца. Украдкой ходила. Часто переодевалась, чтобы не быть замеченной. Встречала с работы, доводила до дома, потом от дома и до работы. Днем пряталась за верандой на детской площадке и подсматривала оттуда, как и что говорит Звягинцева ее Гаврюшке, когда они всей группой в десять малышей выходят на прогулку.

Придаться было не к чему. Ничего дурного не совершалось бесцветной женщиной с обнадеживающим именем, которой органы опеки доверили Гаврюшку, отобрав его у нее — у Маши Гавриловой.

Звягинцева не была с ним излишне строга, не обделяла его вниманием, следила, чтобы в ушки не надуло, поправляла на нем курточку, поднимала воротник, брала за руку, потому что он был самым маленьким. Но...

Но она не была с ним и ласкова! Она не целовала его в макушку всю в милых славных кудряшках. Она не прижимала его к себе с любовью, сильно напоминавшей сладкую боль со щемящей тоской вперемешку. Не перебирала его пальчики, не прикладывала их к своим губам, когда рассказывала ему на ночь сказки. Она и сказки-то ему не рассказывала! Она просто командовала: всем в постель, повернуться на правый бок, положить руки под щеку и спать. И все! Какие сказки?!

Она все правильно делала — Звягинцева эта, — правильно, умно, красиво и по-книжному. Правильно кормила, правильно выгуливала, правильно лепила поделки из пластилина с ними, но она не любила их.

Они — эта горстка несчастных либо брошенных, либо осиротевших, либо отобранных органами опеки, как вот Гаврюшка, детей — были ее работой! И это было страшно!!! Страшно это было для Маши Гавриловой, которая и в мыслях никогда допустить не могла, что жизнь ее маленького сына станет для кого-то каждодневной, рутинной, а порой и надоедливой до соплей работой. Что от его больных зубов будет больно не ей, а тошно кому-то другому. Этот другой станет сжимать рот, контролировать себя, чтобы не разразиться руганью, станет применять научные методики, борясь с больным зубом ее Гаврюшки. Но он не будет сопереживать! И это тоже было страшно!!!

— Раз, два, три, четыре, пять, вышел Зайчик погулять... — слабым шепотом проговорила Маша, не сводя тупого от горя взгляда от опустевшей Гаврюшкиной кровати. — Вдруг охотник выбегает...

Да, нашлись охотники и на ее Гаврюшку. Охотники, опекуны, псевдородители, сдохли бы они все разом!!!

Кажется, ее кто-то предупреждал, что такое возможно, если она не встанет на путь исправления. Кажется, даже приходил к ней кто-то и долго говорил проникновенным, тихим голосом, что она должна ради сына...

Маша их почти не слушала. Она же знала, что их визит — это тоже работа. И они про нее — Машу Гаврилову — сразу забудут, только выйдут за порог их густозаселенной коммунальной квартиры. И про Гаврюшку ее тоже забудут. Они про него, может, и не помнили вовсе. Не помнили, как забирали его. Как отрывали его маленькие пальчики, оказавшиеся на редкость крепкими и цепкими, от Машиной кофты. Как пытались перекричать его отчаянный рев, как волокли его на руках к машине с решетками.

Как преступника!!! Неужели другой машины не нашлось, кроме этой ужасной — безликого серого цвета с тугими беспощадными решетками на крохотных оконцах?

Ее Гаврюшку увезли на этой страшной машине, спрятав его от нее и от всего мира за страшными решетками. И ей уже никогда не вернуть его себе, никогда! Не вырвать его из-за этих стальных прутьев, переплетенных крест-накрест поганой судьбой.

Мало того что она не прекратила пить, так теперь его еще и усыновить решил кто-то очень умный, сильно правильный и жутко обеспеченный.

Вдруг охотник выбегает, прямо в Зайчика стреляет...

Выстрелили не в ее Зайца, выстрелили в нее — в Машу Гаврилову. И этим выстрелом убили наповал. Убили, убили, спорить нечего! Ее теперь и водка не берет, и дым табачный вдогонку с ног не сшибает. Она пьет, пьет, курит, курит, а все трезвая. На нее даже собутыльники дуться начали и наливать стали меньше. Чего, говорят, добру даром пропадать.

Это она точно померла. Была бы она живой, разве такое было бы возможно? Она раньше с трех стаканов и двух сигарет с табуретки замертво падала. А теперь сидит себе и смотрит и, главное, видит всех и все. И увиденному неприятно удивляется, что самое страшное!

Видит, какой старой и задрипанной стала Верка Носуха, прозванная так за перебитый ее любовником нос, сильно смахивающий после перелома на раздавленную сливу. А школу заканчивала вместе с Машей в десятке районных красавиц. Это Маша никогда супермоделью не была, а Верка блистала. Теперь вот с перебитым носом, сизой кожей, без передних зубов и с двумя сломанными ребрами слева, которые каждое утро ноют у нее так, что она орет во все горло.

Валерка из соседнего дома — фамилию его Маша даже не помнит — тоже урод уродом. Высоким был, кучерявым, фартовым, а теперь спина — колесом, лысина вполчерепа и в постоянных попросайках.

Все теперь Маше заметнее как-то стало после того, как душу из нее вынули и сожгли на медленном огне. Заметнее, противнее и бесполезнее.

— Зачем мы пьем, а, ребята? — вдруг спросила она дня четыре или пять назад, когда в последний

раз с ними собиралась на верхнем этаже у Верки Носухи. — Толк-то какой?!

— Ты дура, что ли, совсем стала?

Она не поняла тогда, кто откликнулся на ее вопрос вопросом, но уставились на нее, как на сумасшедшую, все, кто там присутствовал.

— Почему дура? — Маша пожалала плечами, издавшими за последние месяцы до такой степени, что старый серый джемпер с вырезом «галочкой» сползал попеременно то в одну, то в другую сторону. — Просто понять хочу! Зачем мы пьем каждый день и столько?

— Чтобы весело было, овца гаврютинская!!! — гаркнул какой-то пришлый, она дала ему в зубы месяц назад, когда он полез к ней под юбку.

— Весело?! — Маша вытаращила глаза. — Чтобы весело?! Кому?! Вам весело?!

— Нам, нам, — скорчила отвратительную рожу Верка Носуха, разговоры на «умные» темы ее всегда раздражали. — А ты против?

— Какое же это веселье, если каждый день заканчивается дракой? — продолжала свой неожиданный анализ Маша Гаврилова, она ведь и сегодня не пьянела, хоть умри. — Мы не поем, не танцуем, не смеемся. Мы пьем, скандалим, деремся и падаем там, где сидели. А кто не успел упасть, тот ползет в соседнюю комнату за Веркиным триппером.

Тишина потом воцарилась такая, что тараканья возня за загаженной газовой плитой стала слышна и стук подъездной двери тоже.

— Ах ты, сука драная!!! — взвизгнула после неожиданного затишья Верка. — Триппер у меня, понимаешь!!! А почему он есть-то, дура, ты не задумывалась?! Да потому что у меня от мужиков отбоя нет!

А ты... А на тебя разве что идиот полезет. Кому ты нужна, овца гаврютинская!!!

Они чудом не подрались. Верка успела смазать ей по щеке, правда. И Маша, будь она во хмелю своем постоянном, не осталась бы в долгу. Но странное состояние, которое она про себя называла смертью, не позволило ввязаться ей в драку. Она просто ушла. Ушла, оставив в денежной куче в центре стола свои последние полсотни. Собирались ведь как раз еще за добавкой бежать.

И больше она не вернулась туда...

— Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает Зайка мой, — продолжила она невнятный шепот, все так же не сводя взгляда с Гаврюшкиной кровати.

Нет, это она умирает, а с Зайкой все будет в порядке. С ним все будет хорошо, даже очень. Он найдет себе семью. Уже, оказывается, нашел. У него будут мама и папа. И еще, кажется, сестра в той семье у него будет. Старшая будто бы. Она станет защищать его, если кто-то решит Гаврюшку обидеть. А вдруг...

А вдруг эта сестра сама решит его обидеть?!

От такой отвратительной опасной мысли Маша даже на локтях приподнялась со своего продавленного дивана, воняющего старым и плесневым.

А что, если Гаврюшке будет очень плохо в этой очень правильной и обеспеченной семье?! Что, если он будет там страдать, испытает унижение, разочарование, боль?! Как же тогда... Кто же тогда ему поможет, если она — Маша Гаврилова — решила умереть?! Она ведь, вернувшись с гулянки, твердо решила умереть. Но помня о страшном грехе самоубийства, она ничего не стала делать, чтобы умерт-

вить себя. Она просто ничего не стала делать, чтобы выжить.

Она ничего не ела, не пила, не вставала, не ходила. Она лежала, безотрывно смотрела на кроватку сына, на которой теперь сиротливо жался к подушкам старенький медвежонок с обтрепавшимися лапами. Маша лежала и ждала прихода избавления. А потом вдруг пришли страшные мысли о возможном несчастливом будущем ее миленького Гаврюшки. И еще додумалось потом, что эта семья может мальчика взять и вернуть, если он вдруг надоест им или станет мешать. А куда вернут? Да снова в детский дом. И он опять будет страдать. Первый раз страдания ему выпали, когда его забрали у родной матери — у нее то есть. Во второй раз могут настигнуть — если его новой и очень хорошей семье он вдруг станет почему-то не нужен.

Кто же тогда поможет ему, кто?! Кто, если она умрет?! Никто! И уж точно не та рыжая мерзость, по милости которой Гаврюшку и забрали у Маши.

Вспомнив о соседке, что появилась в их коммуналке совершенно неожиданно, будто бы на время, но вдруг обжилась и успела за короткий промежуток времени отравить жизнь всем жильцам, а сильнее всех ей, Маша застонала.

— Ненавижу! — всхлипнула она, выпустив на волю пару слезинок, плакать она зареклась с того дня, как потеряла Гаврюшку. — Чтоб ты сдохла!!!

Но Маргарита, Марго, Маргусик, так называли соседку многочисленные ее любовники, собиралась жить долго и счастливо, а главное — громко. Она громко зевала по утрам за стенкой у Маши, комната Марго как раз располагалась там. Громко разго-